

Клаша / рассказ

Category: Некаýалар, Кітарсу

написано кітарсу | 23 января, 2025

Клаша / рассказ КЛАША

Клаша Смирнова кончала в уездном городе Быкове гимназию, когда неожиданно умерла тетка, воспитавшая ее, Любовь Лукьяновна Жемчужникова, кружевница и содержательница постоялого двора на Монастырской площади. Ивана Ивановича Жемчужникова в живых давно не было, Клаша осталась в эту весну круглой сиротой. Однако, по природе тихая и нежная, выросшая в полном повиновении тетке, она ничуть не растерялась. Справив похороны, она посоветовалась с Павлом Ивановичем Жемчужниковым, дьяконом, и обстоятельно написала в губернский город Алексею Лукьяновичу Нефедову, брату умершей, ее единственному наследнику. Но Нефедов не отозвался на письмо, и месяца два Клаше было трудно.

Всегда странно было ее положение. Все подруги ее по гимназии хорошо знали, что живет она, сирота, дочь неизвестного отца, из милости, среди приезжающих и уезжающих мужиков и прасолов, ест с деревянного круга требуху с хреном, ночует при лампадке и отворенных дверях в кухню, где спят постояльцы и кухарка, где тараканы и лохань с помоями, в которую всю ночь медлительно каплет вода из медного ручкомойника; все знали это и дивились: живет в таком грубом быту, а нежна, хороша собой, ходит в гимназию в коричневом платье и белых воротничках, учится французскому, делает реверансы начальнице, которая всегда приветлива с ней, но неизменно провожает ее долгим, неприятно-внимательным взглядом и втайне раздражается на нее даже за то, в чем она ни сном, ни духом не повинна, – за то, что второй год влюблен в нее молодой законоучитель, застенчивый батюшка с каштановыми вьющимися волосами и большими пугливыми ресницами... Теперь положение стало еще страннее: нужно было и в гимназию ходить, рассуждать там о древнерусской письменности или о типе Онегина, и в то же время, пользуясь только кое-какими советами дьякона, человека

очень осторожного и уклончивого, уже самостоятельно править постоянным двором, толковать с кухаркой об обедах и ужинах для постояльцев, спорить с ними о цене на халуй, на овес, на сено и мучительно долго рассчитываться, проверять хромого дворника и думать, напоили ли корову, сыты ли свиньи... Но вот Нефедов, два месяца не отвечавший на ее письмо, неожиданно явился в Быков самолично – затем, чтобы везти ее к себе. Был жаркий день, уже давно купались и купали лошадей в реке мещане, разъехались гимназисты на каникулы, отцвела сирень в монастырском саду, и цвела рожь в полях за монастырем; постоянный двор был тих и пуст, исхудавшие без призора свиньи ревели с голоду в своей жаркой закуте, с ногами лезли в пустое, измазанное засохшим тестом корыто; Клаша, гремя от скуки коклюшками, сидела в тени у раскрытого окна, в которое горячо дышала сушью и зноем безлюдная и пыльная Монастырская площадь; как вдруг возле ворот остановилась новая, с резным передком телега, и с ее грядки неловко слез невысокий седой старик в картузе и поддевке, немного схожий с Толстым: завиваются из-под картуза матово-серебряные волосы, суются под козырьком бугристые брови, еще густые, но уже серые, велики мясистые бледные уши, старчески худа шея и суха, обтрепана, легка раскидистая борода.

– А я за тобой, за тобой, – сказал он, даже не поздоровавшись, только мельком взглянув на Клашу маленькими водянистыми внимательными глазками. – Будет, поучилась, пора в свет выезжать, кальеру делать, – сказал он вдруг неприязненно и насмешливо, привыкнув всю жизнь играть, кому-то подражать, и повел загремевшую по камням телегу во двор, неуклюже ступая растоптанными сапогами. И Клаша, никогда не выдавая его, только много о нем слышавшая, знавшая, что он столь же любил ее несчастную мать, сколь не любил счастливую Любовь, вдруг вся вспыхнула от радости, от нежности к этому старику, к его бороде, худой шее и слабой старческой груди под розовой косовороткой, живо вскочила с места и выбежала к нему на жаркое крыльцо.

В числе привычек Нефедова была привычка удивлять неожиданными поступками, неожиданными словами, была манера уезжать из дома

внезапно. Куда и зачем он едет, он домашним никогда не говорил, а спрашивать его не спрашивали, – остался страх от прежнего времени. Когда-то он свято верил, что расспросы – гибель для задуманного дела: «Закудакали – добра не будет». Под старость он не верил ни во что, и власть его к этому времени совсем ослабела, – своей волей стали жить и жена его Раиса Матвеевна, и сын Ефрем, и дочь Мариша, а он свою волю проявлял редко. Но когда проявлял, то, опять-таки по привычке, проявлял твердо, и ему уж не перечили. Так было и на этот раз: никому ни слова не говоря, Нефедов, после двухмесячного раздумья, вдруг решил ехать в Быков, чтобы взять Клашу к себе, и так и поступил, и всю дорогу зачем-то шел пешком, притворялся жадным стариком-мужиком.

В Быкове он расправился с делами, как он сам выразился, по-суворовски, в два дня: расчел дворника, кухарку, за бесценок продал на сальни свиней, за бесценок уступил дьякону весь домашний скарб, закрыл окна, запер на рыжий громадный замок ворота, прилепив к ним билетик: «Сей постоялый двор продается», взял с собой только клетку с цыплятами и, перекрестясь, тронулся домой.

– А вы мне, дядечка, очень нравитесь, – сказала, садясь в телегу, Клаша, удивившая его за эти дни своим спокойствием, соединенным с наивными вспышками радости.

– Ага! – ответил польщенный Нефедов. – Старая кобыла борозды никогда не испортит, – похвастался он, хотя Клаша много раз слышала от покойной тетки, что давно испорчена вся жизнь его, что он, весь век норовивший жить по-хорошему, установленному, устроиться возможно прочнее, по своим собственным, сто раз продуманным предначертаниям, прожил как попало, по чьей-то чужой воле, что семейный лад его, при самом своем начале, был разбит изменой Раисы Матвеевны, жившей с барином, у которого он был крепостным человеком.

Выехали по холодку, когда звонили ко всенощной, на блеск низкого солнца, и, оглянувшись на пыльный город, на его каланчу, Клаша перекрестилась, по-детски вздохнула и оправила платье, усаживаясь получше. Пока не стемнело, кой о чем разговаривали, потом стали дремать. Ночью разразился ливень с

грозой, – еще в сумерках все сверкало в тучах на востоке, – по дорогам образовалась страшная грязь, и крепкая лошадь Нефедова едва тащила тяжелую, хотя и с излишком подмазанную телегу. Телега поскрипывала, качалась и укачивала Клашу, спавшую под кожей, возле прикрытой веретем клетки с цыплятами. А Нефедов, одолевая сон и старость, всю ночь крепился, играл в прежнего, хозяйственного и упрямого Нефедова: сидел, в мокрой чуйке, в мокром картузе, на краешке грядки, на изволок бежал возле колеса, закатавшегося в жирную грязь и в травы, поспешал за надувавшейся, мокрой и потной лошадью, на бегу подвязывал ей узлом хвост... Вблизи города стало светать, дождь перестал. Клаша очнулась и, взглянув из-под отяжелевшей кожи, вздохнула сладкой полевой сыростью, услышала шорох колес, воды и грязи, увидела сквозь редевший влажный сумрак бледную холодную на вид зелень прилегших к земле хлебов, втулку вертящегося колеса, всю осыпанную жемчугом – крупными каплями воды, свертывавшейся на маслянистом дегте...

– Это вика? – спросила она, разумея гороховое поле, мимо которого ехали.

– Вика – трава для скотины, – сказал Нефедов, шагавший возле ее головы. – Это, сударыня моя, горох. А тебе-то что?

Но Клаша не отозвалась – она опять крепко заснула. А когда въехали в город и опять потемнело, опять пошел сильный дождь и стал гроыхать гром, да еще страшней, раскатистой, как всегда на рассвете да еще над камнем, над городом, она, накрывшись кожей, спала уже сидя, но, хотя и спала, все видела, как неживая, – видела предрассветные бледно-фиолетовые молнии, освещавшие черные крыши домов, на которых младенчески кричали от страха кошки, высокую колокольню, мелькавшую своей белизной при молниях, галок, кружившихся над крестом, а потом улицу, выходящую в поле, какие-то заборы и шумящие за ними липы. Цыплята пищали, все проснулись, лезли друг на друга, а Клаша сидела и спала. Нефедов долго вглядывался сумрачными от усталости глазами в ее лицо, сперва с удивлением, потом даже с некоторым страхом, и наконец пробормотал:

– Да что-й-то ты, господи, я таких и сроду не видывал! Ты спишь, что ли?

Клаша, бледная и странно тихая, слабо улыбнулась, но как-то так, что выражение ее неподвижных глаз ничуть не изменилось, и тупо сказала:

– Вы не бойтесь. Это у меня, когда я разосплюсь, бывает.

Сонная, она видела немощеную широкую улицу, выходящую в поле, старые усадьбы, похожие на деревенские, из которых самая большая принадлежала помещику Страхову, – «прежнему нашему господину», – сказал Нефедов, кнутом указывая на высокий черный сад и на большой бревенчатый дом дикого цвета, глядевший на улицу чистыми стеклами. Проехав этот дом, телега остановилась возле маленького поместья, возле тесовых ворот. Над ними вился на шесте белый конский хвост, – нечто степное, азиатское, – а к ним примыкал тоже азиатский какой-то домик: его стена, та, что выходила на улицу, была глухая, без окон. Нефедов ушел в калитку, потом отворил изнутри ворота, и телега въехала во двор, усталый навозом, по которому со стенной яростью носилась по рыскалу, гремела цепью желтая широкогрудая собака. Клаша слезла по колесу с телеги, поднялась на длинное деревянное крыльцо, на которое глядели из-под навеса три окна. На пороге стояла высокая женщина с черной и, как покачалось Клаше, красивой головой. Клаша ласково и тихо, как неживая, поздоровалась с ней и, пройдя по еще темному, теплому дому туда, куда ей указали, легла на постель и опять заснула.

В одиннадцатом часу вся нефедовская семья, уже сходявшая по случаю воскресенья к обедне, сидела на крыльце за самоваром, слушая Нефедова, который, в круглых серебряных очках, очень хорошо умещавшихся в его больших глазных впадинах, пил чай с молоком и рассказывал о своей поездке, а Клаша все еще спала, и в открытом окне ее комнаты медленно дулась от ветра белая занавеска. Нефедов в церкви не был, – он, очень набожный, но не любивший духовенства, всегда осуждавший его за корыстолюбие и поспешность при исполнении служб, читал обедню дома, в своем чистом полутемном зальце, где было много церковных книг, образов старого письма, медных складней и стоял аналой. Утомленный бессонной ночью и чтением вслух, он рассказывал подробно, невыразительно, и путем слушала его только дочь, скромная на вид, стройная и небольшая, с твердыми ушками,

полуприкрытыми сухими каштановыми волосами. Сын, высокий, гнутый, лепил бумажного змея, и его стоячие, близко друг к другу посаженные глаза ничего не выражали, кроме внимания к своему делу; он, преданный матери, всегда целовавший по утрам ее руку, ходивший с ней к обедне, за покупками, делавший ей бумажные цветы на образа и на лампы, к отцу был всегда невнимателен. А Раиса Матвеевна, – крупная, худая, с маленькой черно-глянцевитой головой, с длинными, редкими зубами, – мыла чашки и смотрела своими неприятными глазами на самовар: она уже с раздражением думала о заспавшейся Клаше. И вдруг щекотка в калитке стукнула, и как раз в ту самую минуту, когда на крыльцо вышла Клаша, наконец проснувшись и бесшумно умывшаяся за белой занавеской своего окна, во двор вошел Модест Страхов. Он тоже заспался в это утро, как всегда, впрочем: покоен был его большой дом, тих кабинет, выходивший окнами во двор, широка кровать красного дерева, стоявшая под старинной, чуть не всю стену занимавшей картиной, – под смуглой ногой Сусанной с милостивым овальным лицом, стыдливо и грациозно выходившей из мраморного водоема. Страхов, старый вдовец, живший в имении, верстах в пяти от города, никогда ни в чем не стеснял Модеста, давал ему во всем полную свободу, и Модест пользовался ею. Кое-как одолел он гимназию, университета не кончил, хотя и не вышел из него, а просто забыл о нем, приехав на Святки из Москвы и увлекшись катком и любительскими спектаклями. Теперь он часто ходил к Нефедовым, и все дивились, зачем он бывает в этом скучном доме, в семье бывшего отцовского крепостного. Он был среднего роста, держался прямо, в одежде соблюдал щегольство, опрятность; чесался на прямой ряд и тоже очень тщательно, – ровно проложен был пыльный пробор в его черных крупных волосах, тускло блестевших от фиксажура; брился по-актерски, и щеки у него были всегда голубые. Беспокойны были его коричневые глаза, но правильные черты лица оживлялись редко: тогда у него слегка дрожали руки, дрожали тонкие пальцы, которыми он всегда поправлял батистовый траурный платочек, углом торчавший из кармана его пиджака на левой стороне груди. Втайне гордясь знатностью своего рода, он занимался геральдикой и до смешного был сведущ в ней. Старик

Нефедов его боялся, но проще всего Модест вел себя именно у него в доме. Он был на «ты» с Ефремом и Маришей, которую всегда стесняло это. С напускной непринужденностью обращалась с ним одна Раиса Матвеевна.

Он вошел во двор, поднялся на крыльцо, всем пожал руки, обернулся к Клаше.

– А это, позвольте вам представить, моя племянница, – сказала Раиса Матвеевна не то насмешливо, не то церемонно.

И он особенно вежливо наклонил перед Клашей свой напомаженный пробор и слабо коснулся ее прохладной от воды руки. Потом взглянул ей в глаза, быстро окинул всю ее фигуру: со сна, с темным румянцем на щеках и темным блеском глаз, в беленькой кофточке, такой легкой, что в рукавах розово сквозили предплечья, она была свежа, хороша, – он живо почувствовал это. И она чуть смешалась и сбежала по ступенькам на густой навоз двора. Он поспешил заговорить с Ефремом, а она, щурясь, подняла глаза на небо и радостно сказала, ни к кому не обращаясь:

– Ах, боже мой, как уже поздно!

Погода разгуливалась; тепло солнца, скрытого за облаками, доходило до лица, до рук. В небе пели невидимые жаворонки, серо-жемчужные облака высоко плыли над улицей, по которой тянуло легким, влажным воздухом и запахом цветов с поля, а в страховском саду, глядевшем из-за забора, ровно лепетала серебристая листва осин. И велик, живописен показался Клаше этот сад, темный, сырой внутри, в глубине, где на столетних липах вили гнезда ястреба, а под мшистыми елями зеленели и гнили скамьи, на которых уже давно не сидел никто...

Рим. 24 марта. 1914

Иван БУНИН. Некаýalar